



Los Abismos

Pilar
QUINTANA

Бездны

Пилар
КИНТАНА

*Перевод с испанского
Марии Малинской*

POPCORN BOOKS
Москва

УДК 821.111
ББК 84(7Кол)-44
К41

LOS ABISMOS
Pilar Quintana

Напечатано с разрешения Massie & McQuilkin Literary Agents

Все права защищены. Любое воспроизведение, полное или частичное, в том числе на интернет-ресурсах, а также запись в электронной форме для частного или публичного использования возможны только с разрешения правообладателя.

Кинтана, Пилар.

К41 Бездны : роман / Пилар Кинтана ; пер. с исп. М. Малинской. — Москва : Popcorn Books, Эксмо, 2025. — 192 с.

ISBN 978-5-907696-67-9

Детство Клаудии в Кали протекает тихо и беззаботно, как и у многих других детей. Но внезапно в жизни ее семьи назревает кризис, и достаточно лишь одного человека, чтобы сломать привычный мир. Клаудия с детской наивностью и острым взглядом рассказывает о событиях, открывших трещины, через которые проникли ее самые глубокие страхи, необратимые и толкающие на край пропасти.

В мире женщин, привязанных к своей рутине и не способных освободиться от устаревших норм воспитания, Пилар Кинтана создала проникновенный роман с чуткой историей, которая через воспоминания о доме проводит читателя сквозь переживания и испытания детства героини.

УДК 821.111
ББК 84(7Кол)-44

© 2021, Pilar Quintana
© Мария Малинская, перевод на русский язык, 2024
© Издание, оформление.
ООО «Издательство Эксмо», 2025
Popcorn Books®

ISBN 978-5-907696-67-9

Моим сестрам

Моя душа бросается в черную отвратительную бездну, и та вязко заполняет мой рот, нос и уши.

Фернандо Ивасаки, «Незнакомец»

ЧАСТЬ 1

В квартире было столько растений, что мы называли ее джунглями.

Дом наш был как из старого кино о будущем. Обтекаемые формы, выступающие балконы, много серого, большие открытые пространства, панорамные окна. Квартира была двухэтажная, и окно гостиной, высотой в два этажа, тянулось от пола до самого потолка. На первом этаже — черный гранитный пол с белыми прожилками, на втором — белый с черными. Голая лестница — стальные трубки, ступеньки из полированных досок и сплошные зияющие пустоты между ними. Она вела наверх, и коридор с перилами из стальных трубок, такими же, как на лестнице, нависал над гостиной, будто балкон. Оттуда были видны джунгли, захватившие весь первый этаж.

Растения стояли на полу, на столах, на музыкальном центре и на комодe, между кресел, на подставках из кованого железа и в глиняных кашпо, свисавших со стен и потолка, на нижних ступеньках и в помещениях, которых во второго этажа видно не было: на кухне, в патио для стирки и в гостевой ванной. Растения были всевозможные — те,

что любят свет, те, что предпочитают тень, и те, которым нужен обильный полив. Цвели лишь немногие, антуриум — красным, спатифиллум — белым, а остальные стояли зеленые. Папоротник кудрявый и гладкий, стебли с полосатыми, яркими и пятнистыми листьями, пальмы, кусты, огромные деревья в гигантских горшках и нежные росточки, помещавшиеся в мою детскую ладонь.

Бывало, я шла по квартире — и казалось, растения тянутся ко мне, хотя коснутся меня листьями, будто пальцами, а самые крупные, те, что стояли за трехместным диваном, обвивали каждого, кто на него садился, и любили припугнуть внезапным прикосновением.

На улице два гуаякана закрывали обзор из гостиной и с балкона. В сезон дождей они сбрасывали листья и покрывались розовыми цветами. С деревьев на балкон перескакивали птицы. Самые отважные, колибри и сирири, даже залетали осмотреться в столовую. Между столовой и гостиной беззаботно порхали бабочки. А иногда по ночам к нам заглядывали летучие мыши — они летели низко и будто сами не знали куда. Мы с мамой принимались кричать. Папа брал метлу и неподвижно стоял с ней среди джунглей, пока летучая мышь не убиралась обратно на улицу тем же путем.

По вечерам, спустившись с гор, над Кали носился прохладный ветер. Будил гуаяканы, влетал в дом через открытые окна и шевелил растения у нас в квартире, поднимая ропот и суету, точь-в-точь как бывает на концертах. На закате мама поливала свои владения. Вода просачивалась сквозь землю и вытекала сквозь дырочку в дне на глиняные блюда, журча ручейком.

Я обожала бегать по джунглям, и чтобы растения глядели меня, и стоять среди них, закрыв глаза, и слушать.

Тихое журчание, шепот ветра, нервные, взволнованные ветви. Я обожала бегом взбегать по лестнице и смотреть вниз со второго этажа, будто в бездну, будто ступеньки — это расселины в глубоком овраге. А внизу простирались наши джунгли, роскошные и дикие.

Мама всегда была дома. Она не хотела быть как моя бабушка. Всегда мне это повторяла.

Моя бабушка спала допоздна, так что мама уходила в школу, не повидавшись с ней. Днем она играла с подругами в луло, а когда мама возвращалась из школы, четыре из пяти дней бабушки не было дома. А если была, то только потому, что в тот раз играли у нее. Восемь дам сидели в столовой у стола, курили, смеялись, сбрасывали карты и ели пандебоно*. На маму бабушка даже не глядела.

Однажды в загородном клубе мама услышала, как одна дама спросила бабушку, почему у нее нет больше детей.

— Ох, дорогая, — ответила бабушка, — будь я половчее, у меня и этой-то не было бы.

Обе расхохотались. Мама только вылезла из бассейна, с нее стекала вода. Она сказала мне, что ей как будто рассекли грудь, сунули туда руку и вырвали сердце.

Дедушка возвращался с работы ранним вечером, обнимал и щекотал маму, спрашивал, как дела. А в основном за ней смотрели горничные; они часто сменялись, потому что бабушке ни одна не нравилась.

У нас горничные тоже надолго не задерживались.

Есения приехала из джунглей Амазонки. Ей было девятнадцать, у нее были прямые волосы до пояса и грубые

* Пандебоно — небольшая круглая булочка из кукурузной муки.

черты, как у каменных скульптур из Сан-Агустина. Мы с ней сразу поладили.

Моя школа была всего в нескольких кварталах от дома. По утрам Есения отводила меня туда, а днем встречала у входа. По пути она рассказывала о своей земле. О фруктах, о зверях, о реках, что шире любого проспекта.

— А это, — говорила она, указывая на реку Кали, — не река, а ручеек какой-то.

Однажды днем после школы мы сразу пошли к ней — в комнатенку возле кухни, с ванной и крошечным окошком. Мы уселись на кровать друг напротив друга. Оказалось, она не знала никаких песен и не умела играть в ладоши. Я стала учить ее своей любимой игре, как три куклы приехали из Парижа. Она на каждом шагу сбивалась, и мы принимались хохотать. Вдруг на пороге возникла моя мама:

— Клаудия, иди к себе, будь добра.

Она была жутко серьезная.

— А что такое?

— Иди, я сказала.

— Но мы же играем.

— Не заставляй меня повторять.

Я посмотрела на Есению. Она взглядом показала мне, что надо идти. Я встала и вышла. Мама подобрала с пола мой портфель. Мы вошли ко мне в комнату, мама закрыла дверь.

— Чтоб я больше никогда не видела, как ты с ней шушукаешься.

— С Есенией?

— Ни с ней, ни с кем-то еще из прислуги.

— Почему?

— Потому что это прислуга.

— И что?

— Ты к ним привязываешься, а потом они берут и уходят.

— У Есении в Кали никого нет. Она может остаться у нас навсегда.

— Ох, Клаудия, не будь такой наивной.

Несколько дней спустя Есения ушла, не попрощавшись, пока я была в школе.

Мама сказала мне, что позвонили из Летисии и ей пришлось срочно уехать домой. Я заподозрила обман, но мама стояла на своем.

А потом пришла Лусила, пожилая женщина из Кауки. Она вообще со мной не разговаривала и продержалась у нас дольше всех.

По утрам, когда я была в школе, мама занималась домашними делами: ходила по магазинам, оплачивала счета. В полдень забирала папу из супермаркета, и они вместе обедали дома. Потом он уезжал на работу на машине, а она оставалась дома ждать меня.

Когда я возвращалась, она лежала в постели с журналом. Ей нравились «Ола», «Ванидадес», «Космополитан», там она читала о жизни известных женщин и рассматривала крупные цветные фотографии: дома, яхты, вечеринки. Я обедала, она листала журналы. Я делала домашние задания, она листала журналы. В четыре по единственному телеканалу начиналась передача, я смотрела «Улицу Сезам», а она листала журналы.

Как-то раз мама мне рассказала, что незадолго до окончания школы она дождалась дедушку с работы и сказала ему, что хочет пойти учиться в университет. Они сидели в комнате бабушки с дедушкой. Дедушка скинул

гуайяберу* на пол и остался в одной майке — большой, волосатый, с круглым теплым животом. Вылитый медведь. Он посмотрел на маму странным незнакомым взглядом.

— На юридический, — сказала мама, набравшись смелости.

У дедушки набухли вены на шее, и самым суровым тоном он сказал маме, что приличным девушкам полагается идти замуж, и никаких университетов и юридических ей не видать как своих ушей. Я прямо слышала его жуткий голос, как из громкоговорителя, и видела, как моя мама, совсем крошечная, пятится к стене.

Меньше месяца спустя дедушка умер от инфаркта.

В кабинете у нас дома была стена, увешанная семейными фотопортретами.

Снимок моих бабушки с дедушкой, маминых родителей, черно-белый, в серебряной рамке. Он был сделан в клубе, на последней новогодней вечеринке, на которой они были вместе. Кругом летал серпантин, люди в шляпах дудели в игрушечные рожки. На фотографии бабушка с дедушкой, смеясь, размыкали объятия. Он — великан в смокинге, в бифокальных очках, с бокалом в руке. Волос на теле не видно, но я знала по другим фотографиям и по маминым рассказам, что они были повсюду: на руках, на спине, в носу и даже в ушах. Моя бабушка — в элегантном платье с открытой спиной, с пышно уложенной короткой стрижкой, в руке — портсигар. Высокая и худая, будто гусеница встала на ноги, — но рядом с дедушкой она казалась совсем маленькой.

* Гуайябера — тонкая, как правило, светлая мужская рубашка, популярная в Карибском регионе.

Красавица и чудовище, думала я всегда, глядя на них, но мама вступалась за дедушку, говорила, что никакого он не чудовище, а просто плюшевый мишка, который всего раз в жизни разозлился.

Дедушка всю жизнь проработал на заводе кухонной техники, в отделе продаж. У него были крупные клиенты, высокий оклад и комиссия с каждой продажи. После его смерти комиссий не стало, а пенсия, назначенная бабушке, была куда меньше его оклада.

Бабушке с мамой пришлось отказаться от членства в клубе, продать машину и дом в Сан-Фернандо. Они переехали в съемную квартиру в центре, распрощались с постоянной горничной и наняли другую, она приходила не каждый день. Перестали стричься в салоне, научились сами красить ногти и делать укладки. Бабушка соорудила себе высокую пышную прическу при помощи гребня и половины флакона лака. Она бросила луло, потому что приглашать к себе восемь дам обходилось слишком дорого, и перешла на канасту: в нее можно было играть вчетвером.

Окончив школу, мама устроилась волонтеркой в больницу Сан-Хуан-де-Дьос; дедушка одобрил бы это решение.

Сан-Хуан-де-Дьос была благотворительной больницей. Я там никогда не бывала и представляла себе темные грязные помещения, стены, запачканные кровью, и умирающих, со стонами плетущихся по коридорам. Однажды я рассказала об этом маме, она рассмеялась. На самом деле, сказала она, здание было большое и светлое, с белыми стенами и садами в патио. Его построили в восемнадцатом веке, и монахини, управлявшие больницей, поддерживали его в прекрасном состоянии.

Там мама познакомилась с папой.

Портрет бабушки с дедушкой по папиной линии был овальный, в ажурной бронзовой рамке. Они жили в более давние времена, чем мамыны родители, и времена эти скорее детскому сознанию мнились темными, как сам портрет.

Картина маслом изображала день их свадьбы, это была копия фотоснимка: коричневый фон, тусклые детали. Единственное яркое пятно — невеста, девочка шестнадцати лет. Она сидела на стуле, платье скрывало ее всю, от шеи до тuffель. Мантилья, робкая улыбка, в руках — четки. Наряд навел на мысли о конфирмации, а жених казался ее отцом. Он стоял будто старый деревянный столб, и рука его покоилась на ее плече. Сухопарый, лысый, в сером костюме и толстых очках.

Эта девочка, моя бабушка, умерла, рожая моего папу, не дожив и до двадцати. До этого они с дедушкой жили у него на кофейной финке*, а после он уехал в Кали — убитый горем, думала я. Печальный мужчина, который был не в состоянии ни о ком заботиться. Новорожденный и его сестра, моя тетя Амелия, которой было тогда два года, остались на финке, порученные заботам одной из бабушкиных сестер.

Там они и выросли. Когда пришло время, их тетя записала детей в районную школу, куда ходили дети фермеров и рабочих. Во втором классе они выросли из своих ботинок, тетя отрезала мыски ножом, и они стали ходить так, пальцы торчали из дырки.

— Вы были бедные? — спросила я у тети Амелии, когда она рассказала мне эту историю.

* Финка — загородный дом с примыкающей к нему территорией, на которой часто выращивают скот и/или сельскохозяйственные культуры, например кофе.

- Что ты! Финка процветала.
- А почему вам не купили новых ботинок?
- Кто же знает? — сказала она, помедлила немного и добавила: — Папа никогда к нам не приезжал.
- Грустил после смерти вашей мамы?
- Наверняка.

Их тетя заболела, врачи оказались бессильны, и, когда она умерла, детей отправили к отцу в Кали. Он продал финку и открыл супермаркет.

Мои тетя с папой жили с дедушкой, пока не выросли. У дедушки началась эмфизема, потому что он курил две пачки в день, и он умер задолго до моего рождения. Папа с тетей унаследовали супермаркет.

Тетя Амелия следила за делами в супермаркете, но на работу туда не ходила. Она проводила дни у себя в квартире, в халате, много курила, а по вечерам пила вино. У нее были халаты всех мыслимых фасонов и расцветок. Мексиканские, гуахирские, индийские, в разводах, как у хиппи, и с картагской* вышивкой.

На Рождество и на ее день рождения мама всегда жаловалась, что не знает, что подарить, и в конце концов покупала халат. Тетя принимала подарок с радостью, которая казалась искренней, уверяла, что такого у нее нет или что именно этого цвета в ее коллекции не хватает.

Мой папа управлял супермаркетом. Он никогда не брал отпуск, а отдыхал, когда супермаркет не работал, — по воскресеньям и по праздникам. Приходил с утра самым первым, по вечерам уходил последним, а иногда ему прихо-

* Картаго — город в Колумбии.